

*Петербургские
трущобы*

Книга первая

ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ

Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов.

Когда, еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым — мне приходилось не однажды выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?

Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и не знакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?

Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переуллка; можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, это — кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут — не впервой!» — отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» — прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверей подвального этажа. Через

минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками, окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» — спросил я одну женщину. «А черт ее знает, — надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая наконец довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пятьдесят минут. Я думал, что это уже последняя грань петербургской мерзости и разврата, — и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.

Остаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства, начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышите, студент, есть у вас деньги?» — «Есть. А что?» — «Дайте мне взаймы — сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними

вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» — обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товаров; но через эти урывки для меня скользила целая драма — такая драма, в которой «за человека страшно» становится.

Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случилось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно-сытymi физиономиями? Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виновен всего этого? Обвинить легко, очень легко — гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека, один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастье? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропические возгласы, обеты и теории.

«Es ist eine alte Geschichte» — все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch, bleibt sie immer neu»¹,

¹ «Это старая история... это старая история, остающаяся, однако, вечно новой» (нем.). — Ред.

быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таких — надо сознаться — не занимать стать пока.

В тот достопамятный — лично для меня — вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня — частью по услышанным и подхваченным на лету урывкам, частью же по собственной догадке и соображениям, — невольно как-то сама собою натолкнула меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, исписал целую толстую тетрадь, но... ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал перед действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, — подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантское, — и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.

Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многообразны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.

Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры не замедлят познакомить нас со множеством неизвестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок ка-

кой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы отсюда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае делается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы малопомалу уничтожаются: в центральной нашей трущобе — доме князя Вяземского — есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.

Я считаю при этом первою и приятною обязанностью принести мою благодарность лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, — лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежащих юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне как автору всегда хотелось печатать. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического — а во многих местах и просто логического — смысла ни для кого не может остаться незамеченным.

Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.

Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними пробелами. Прошу читателя извинить их... Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь — и навсегда останусь — при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же — могу сказать по совести и смело — руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.

Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». На-

деюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо — я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно — так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий, — писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан — для меня существуют одни только люди — человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т. д.

Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии — трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной он возбудит хотя малейшее ответственное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ребенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником, сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требований своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физиче-

ским, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет о спасении, об исходе по причине очень простой и несложной: она их не знает.

Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионатах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, поддельвателей фальшивых бумаг и т. п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же страницах покончить чтение моего романа — и я в таком случае только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.

Всеволод Крестовский

Часть первая

СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ

I

КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадрского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с пологою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:

— Кого надо?

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:

— Передайте князю и княгине... тут цветы... Скажите, что от бельгийского консула... Приказали кланяться и отдать...

— Ладно, будет отдано! — ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.

Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сениям

с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу — подметать гранитный мозаичный пол.

Вдруг, через несколько времени, в сенях, неизвестно откуда, послышался слабый крик младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.

— Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! — пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.

Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее — «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они — доложить обо всем немедленно же господам.

Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.

— Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство! Бог милости прислал...

— А!.. что?.. — пробормотал князь спросонок.

— Бог милости прислал вашему сиятельству, — почтительнейше повторил камердинер.

— Какой милости?

— Корзинку с цветами-с...

— Что ты врешь? какую корзинку?

— От бельгийского консула... приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.

— От какого бельгийского консула? — в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. — Что это, ты пьян, что ли?

— Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула... Бог милостью посетил... корзинка с цветами...

Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.

— Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?

— Младенец-с...

— Какой младенец?

— Надо полагать, подкидыш... В корзинке этой самой положен... Мы без вашего сиятельства не осмелились...

— А!.. — произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.

— Княгиня знает? — торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.

— Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.

— А!.. — И лицо князя опять передернуло.

Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить... Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, что супруги остались особенно довольны посетившей их Божией милостью.

— Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, — сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:

— Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне... Корзинка прислана на наше общее имя.

— Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом, — столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.

Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.

— В *этом* — да, нисколько! но в *другом*... — произнес князь с немалою выразительностью и остановился.

— В чем другом? — с живостью перебила его жена. — В чем?..

— Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! — сказал он, не сводя глаз с лица

жены, и потом добавил: — Пять месяцев назад меня не было в Петербурге... Да, потом, вы очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.

Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей в свою очередь пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и видимо искала случая дать другое направление разговору.

— А где же корзинка, однако? что это ее не несут? — сказала она, озабоченно поднимаясь с места.

Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.

Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена» — и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.

Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.

Княгиня первая прервала неловкое молчание.

— Что же вы намерены делать с этим ребенком? — спросила она. — Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.

— Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто... — и князь опять остановился и задумался.

— Что же надо? — переспросила его жена.

— Надо нам объясниться с вами! — наконец выговорил он, собравшись с силами.

— Извольте; я готова...

— Дело вот в чем, — начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, — дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени — князь Владимир Шадурский, и потому... я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались рядом с нашим сыном какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? — спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.

Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.

— Не угодно ли вам будет отправиться за границу? — как бы неожиданно и бесцельно спросил он.

— Пожалуй... я подумаю...

— То-то, подумайте... А об участии этого подкидыша вы не беспокоитесь, — добавил он, вставая и выходя из комнаты. — Я сделаю для него все, что могу.

II МАТЬ

Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузамороженная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул вернуть обычное: «маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам — словно боясь погони, — скрылась в низенькой калитке деревянного дома.

Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита вывеска с надписью: «Неватте» — «Повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чистоплотно-немецкой наружности, в белом чепце, и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.

— Что, спит?.. Можно войти? — шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.

— Нет, не спит, все вас дожидается, — отвечала ей, также шепотом, немка. — Слава богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась...

Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пылливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.

— Ну что, Наташа? — с замиранием сердца спросила она. — Снесла?

— Ничего, слава богу, все хорошо... ничего... Снесла и отдала.

— Взяли они? — с возрастающим нетерпением допрашивала больная.

— Надо полагать, что взяли... Не выкинут же младенца на улицу, — как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.

— Слава тебе господи! — с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.

— Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе господи, удалось как не надо быть лучше! — утешала ее между тем Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проникательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброежелательства.

— Я не от горя, Наташа; я от радости... Я теперь почти совсем ведь счастлива... Ведь, понимаешь ли ты, я могу, буду у них видать ее... хоть издали, хоть как чужую, а все-таки видеть, знать... ведь все же лучше, чем совсем не видать-то!.. Что делать!..

Наташа равнодушно, как совершенно посторонний человек, слушала эту исповедь больной, полную и радости, и надежд, и грусти.

— Ну а что там... у нас, дома? Не слыхала ты? — неожиданно спросила больная после минутного раздумья.

— Ничего... все, кажись, пока спокойно, — ответила с маленькой запинкой Наташа, с запинкой потому, что на самом деле было далеко не спокойно. — Да вы не тревожь-

тес, — прибавила она, — авось, Бог даст, все как-нибудь обойдется.

Больная раздумчиво покачала головой.

— Едва ли, Наташа!.. не верится мне что-то! — со вздохом сказала она. — Уж где там обойтись!.. Мне, верно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья... Вот и ребенок мой в мае родился, — верно, тоже весь век будет маяться, бедняжка...

— Это все одни пустяки; так только... старые люди занимаются — болтают. А то вот увидите, все перемелется — мука будет, — рассеянно заметила Наташа, как человек, которого занимают совсем посторонние и давно уже преследующие его скрытые помыслы.

Больная сначала закрыла глаза ладонями и потом махнула рукой, сделав головою такое движение, как словно хотела бы отогнать преследующую ее мысль.

— Ну, что думать об этом?.. — сказала она, стараясь обмануть самое себя как бы беззаботностью и равнодушием. — Умела сделать грех, умей и нести его!.. А вот что-то *он* не едет? И не пишет ничего...

— Авось нынче заедет... Нынче-то уж, кажись бы, наверное должен был заехать!

— Да что ж он до сих-то пор ждал? зачем он до сих пор не приезжал ни разу?.. Ведь вот уж третий день сегодня, как я здесь!.. Ведь я писала ему... Он знает! — с тоскливым и недоумевающим укором спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо ответ на это и разрешить ее сомнения.

— Нет, уж после сегодняшнего — непременно приедет! — утешала Наташа тоном очень искусно подделанного участия.

— Дай-то бог, дай-то бог! — отвечала больная все с тем же недоверчивым покачиванием головы. — Грустно мне без него, Наташа, очень грустно!.. И что я за сумасшедшая! — продолжала она минуту спустя как бы сама с собой. — И за что я только так полюбила его! Как ведь полюбила-то! все позабыла, на все решилася!.. И за что все это? Сама не знаю... Так, как ты думаешь, Наташа, приедет? — неожиданно добавила она.

— Непременно приедет! Вот подождите, увидите сами!

— Ну, буду ждать!

Но больная тщетно прождала целый день: *он* не приезжал. Она мучилась, теряясь в догадках, и, конечно, всем этим страшно вредила своему положению. Наконец к вечеру она получила письмо. От кого? Это была для нее совершенная неожиданность.

III ТАЙНЫЙ ПРИЮТ

За три дня до описанного нами происшествия с корзиной в кабинет старой княгини Чечевинской, одетой в траур по мужу, вошла ее дочь, княжна Анна, что вызвало на лице старухи знаки видимого неудовольствия: она терпеть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывал мирное течение ее занятий. Это было утром, часов около двенадцати. Занятия старой княгини по утрам состояли в проверке приходо-расходных книг и расчетов, в перечислении наличных денег и т. п. Княгиня — если взглянуть на нее с оборотной стороны медали, то есть с той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользает или умеет прятаться от постороннего светского глаза, — была то, что называется кулак-баба, да притом и просто-таки снабжена от матери-натуры достаточною долею скупости. Под старость, и особенно с тех пор, как покойный князь Чечевинский растратил, и растратил, по мнению княгини, самым эксцентричным образом, больше чем две трети своего состояния, эти качества в ней усилились весьма заметно. Но предаваться им она любила келейно, в кабинете, без помехи чьих бы то ни было посторонних глаз — она старалась, чтоб не заметили ее наклонности, — и потому неудивительно, если неожиданный приход дочери вызвал на ее лице оттенок неудовольствия.

— Что тебе, зачем ты меня беспокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю... — проговорила она, подвигая на лоб очки и поспешно закрыв расчетную книгу.

— Я к вам... мне надо...

— Что тебе надо?.. Ничего не надо!.. от вас только одно беспокойство...

Старухе видимо хотелось поскорее избавиться от постороннего лица.

— Я получила записку от Зины. Она просит меня приехать, — ответила княжна, с трудом скрывая в лице невольные знаки какой-то страшной внутренней боли.

— Зачем это?.. — возразила старуха. — Ведь они всем семейством, кажется, хотели быть к нам нынче вечером — разве ты забыла?

— Я знаю... Но она пишет, чтоб я приезжала к ним с утра, а потом все вместе и будем к вечеру... Она очень просит — ей что-то очень нужно...

— Пустяки какие-нибудь!.. Закладывать экипаж, беспокоить людей и лошадей понапрасну — и все из-за пустяков! Как будто нельзя обождать...

— Я пешком пройду...

— Этого только и недоставало! Пешком... очень хорошо!.. Все-таки... человека беспокоить — ливрею надевать... Да куда тебе ехать? взгляни, бога ради, на тебе лица нет — так ты бледна, — прибавила она, взглянув на лицо девушки, которое действительно сквозило страшною болезненною бледностью.

— У меня голова болит немного... На воздух выйду, так и пройдет.

— Ну хорошо, хорошо, только не беспокой меня, пожалуйста; у меня бездна дел... Прикажи человеку проводить себя.

— Меня моя горничная проводит.

— Это еще что за новости? Что ты, чиновница, что ли?

— Да она у меня отпросилась сегодня на целый день, так ей все равно... а человека что же беспокоить, — возразила княжна, стараясь последним своим замечанием подделаться в такт матери.

— Скажите, как велико беспокойство!.. Вздор, прикажи человеку. Ты уже одета? — спросила она, оглядывая платье дочери. — Могла бы одеть попроще что-нибудь — хоть старое траурное платье; утром ведь ни к чему. (Это был тоже голос скупости.)

— На мне и то довольно простое платье, — возразила дочь.

— Ну это хорошо... бережливость никогда не мешает, — продолжала оглядывать княжну, заметила старуха. — Что это оно на тебе как будто дурно сидит?

— Нет, ничего... это вам так кажется...

— В талии, как будто... что-то неловко...

— Нет, ничего... я в корсете... оно сидит как нельзя лучше.

Талия княжны действительно донельзя была перетянута корсетом.

— Ну хорошо, хорошо! только оставь меня, не мешай мне, пожалуйста, — поспешила отделаться старуха и по уходе дочери сейчас же опять принялась за работу.

Вернувшись к себе в комнату, княжна в изнеможении опустила в кресло.

— Ну что?.. как? — спросила поджидавшая ее тут горничная.

— Приказала проводить человеку... Что делать с этим, уж я и не знаю!.. — через силу отвечала княжна, очевидно подавленная каким-то большим горем.

— Ну, это еще ничего... Я пойду прикажу Петру... этот мой — не выдаст! Уж я обделаю, вы не беспокойтесь!

— Только как я пойду?.. Мне кажется, я не в силах... — с отчаянием проговорила княжна.

— Ничего, до кареты-то дойдем! — ободряла ее горничная. — Вы не сидите только, а старайтесь ходить полегоньку: ходить-то лучше, сказывают.

И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгини.

Через десять минут княжна Чечевинская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея.

— Ты, Петя, ступай себе куда знаешь! — вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая их за углом.

— Да куда ж я пойду? Проводить велено...

— Ну, леший! не твое дело! Сказано — ступай, так и ступай!.. А через час вернись; да смотри у меня: молчок! а проврешься — так только ты меня и знал!

Лакей любезно ухмыльнулся в ответ на приказание горничной и, отстав от княжны шагов на двадцать, незаметно свернул себе в сторону, до ближайшего трактира.

— Он ушел? — спросила княжна, когда горничная поравнялась с нею, и, получив удовлетворительный ответ, тотчас же спустила на лицо густой черный вуаль.

— Я решительно не в силах идти! — сказала она, остановившись в изнеможении. — Далеко еще до кареты?

Горничная в ответ кивнула головой на угол и побежала в том же направлении.

Полчаса спустя извозчиця карета со спущенными шторами, ехавшая все время с большой осторожностью, шагом, остановилась в Свечном переулке, у ворот деревянного дома.

Княжна и горничная вошли в серенький надворный флигелек с знакомой уже читателю скромной вывеской — «Небамме».

— Вам надо раздеться, сударыня, и лечь, вы так утомлены, — говорила востроносенькая женщина в белом чепце, с немецко-чистоплотной наружностью, заботливо помогая княжне скинуть ее платье. — Боже мой, да вы в корсете! — чуть не с криком добавила она и с выражением ужаса покачала головой.

— Что делать? Надо было скрывать, — ответила Наташа. — Я уж и то все платья по ночам, тайком, понадставляла.

— Но это нехорошо, это очень нехорошо! — продолжала покачивать своим чепчиком немка.

— Скажите, может все это окончится к вечеру? — спросила ее княжна.

— Это как Бог даст, — ответила она в затруднении, пожимая плечами.

— Но мне необходимо надо быть сегодня к вечеру дома.

— Это очень опасно...

— Что делать, но если иначе нельзя!

— Конечно, бывает иногда и так, но это очень опасно, говорю вам. Впрочем, посмотрим; может, вы еще и не в силах будете... теперь еще неизвестно... Но только вы очень рискуете, сударыня... Ваш корсет много беды тут наделал. Вы в первый раз? — спросила она.

— В первый.

— Ну, так почти наверное, что нельзя. Надо будет остаться... Вы будете слишком слабы, уж поверьте моей опытности.

— Что же мне делать! Боже мой, что делать мне!.. Это, значит, узнают... Я не скрою!.. — с отчаянием говорила княжна, ломая себе руки, тогда как сильные схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличивая собою невыносимое страдание нравственное. У немки на глазах показались слезы. Она только пожала плечами и продолжала раздевать больную.

— Все бы ничего, только вот старая барыня... беспокойства много будет, если не вернемся к вечеру, — заботливо проговорила Наташа и поспешила отвернуться, чтобы скрыть

невольно прорывавшуюся на губы усмешку: она как будто была бы рада, если б княжна не вернулась к вечеру.

— Ну, мой грех, мой и ответ! — с решимостью проговорила княжна. — Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?

Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки: запечатав, она отдала их горничной, с приказанием отправить тотчас же на городскую почту.

— И как это вы, право, так, до последней минуты ходили! — удивлялась немка, укладывая больную в постель.

— Я ничего не знала... я думала, еще не время... Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы, — ответила княжна, указав на Наташу.

Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления.

— Она знает, кто я такая? — шепотом спросила княжна по-французски.

Горничная отрицательно покачала головою.

— Ты как ей сказала?

— Сказала, что вы просто так... девушка среднего круга, что надо скрыть от родных... ну, и ничего.

— Она не расспрашивала больше?

— Тридцать рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала. «Это нам все равно», — говорит.

— Ну слава богу!.. Только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерьми придет!.. Ведь я сказала, что к ним пойду...

— Ай, ай, как же вы это так, не подумавши! — заботливо заметила Наташа.

— Где уж тут было думать! Я себя-то не помнила! Что первое взбрело на ум, то и сказала.

— Неравно узнают, — продолжала та притворно опасаться.

— Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет; а если и узнают, так...

Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумье.

— Лишь бы он любил, а до остальных... Бог с ними! Мне все равно! — добавила она с глубоким и тяжелым вздохом.

Часов около шести вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня

и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услышав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.

IV

УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими «делами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменной строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «*que dira le monde?*»¹ властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим и всем существом трепетала перед роковою силою этого страшного *что скажут?*.. С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и под конец почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей — все это могло служить, на глаза людей и близких, и посторонних, образцом безукоризнейшего приличия, и все это заставляла ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «*que dira le monde?*». Если бы что-либо в жизни княгини хотя на шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни — удар, нанесенный ее мужем, который, увы! часто позволял себе непростительные отступления от приличий, но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди.

Это была женщина даже с замечательной силой характера. Быв уже замужем, она сильно влюбилась в одного великосветского франта, *gant jaune*², как их тогда называли, бли-

¹ «Что скажет общество?» (фр.) — Ред.

² Желтая перчатка (фр.) — Ред.

ставшего в десятых годах; но не только что ему, а, кажись, даже самой себе не призналась в этом и задавила в душе своей чувство, не дав о нем светской молве ни малейшего намека, ни малейшей догадки. Она, например, совсем не любила своего мужа, но всю жизнь осталась безукоризненно верна ему. Вы думаете — отчего? сознание долга? Нет, не столько долга, сколько боязни этого *что скажут?* Она не допускала, чтобы *о ней, княгине Чечевинской*, осмелился кто-либо заикнуться с легкой улыбкой. Она не могла представить себе без ужаса свою фамильную репутацию с каким-либо темным пятнышком; репутация ее должна была быть чиста как кристалл — того требовал кодекс условий, усвоенный ею еще с раннего детства. И действительно, темное светское сословие, как известно, не щадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало перед именем княгини Чечевинской. В течение всей ее жизни о ней не ходило ни одной темной сплетни, и все глубоко уважали ее за безукоризненно чистую репутацию, а для самой княгини это был источник неисчерпаемой внутренней гордости.

По положению своему в свете она держала дом свой на соответственную ногу. На посторонние глаза скупость ее была решительно незаметна. Она умела в этом отношении поддержать достоинство своего рода и состояния. Но зато с глаз на глаз со своей душою княгиня постоянно мучилась неотступным призраком расходов и издержек, всегда, впрочем, поневоле склонявшимся перед другим, сильнейшим призраком: «*que dira le monde?*» Она, например, без посторонних постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье — на том мудром основании, что «бережливость никогда не мешает, и почем знать, что еще может случиться и ожидать ее в жизни». Она даже себе очень часто отказывала в прогулке — на том основании, что неравно еще шина в колесе кареты лопнет или ось сломается — придется отдавать в починку и деньги платить, да и ливрея новая у лакея и армяк у кучера от излишнего употребления будут портиться и приходиться в ветхость, а новые делать — опять-таки деньги платить. В отношении дочери она маскировала этот последний расчет тем, что «зачем излишне и людей, и лошадей беспокоить», — следовательно, выставляла причину достаточно филантропичную и делавшую честь ее прекрасному сердцу. Так и теперь,

по уходе дочери, она стала обдумывать, что ни к чему лишний кусок к обеду готовить, и потому, под предлогом нездоровья, приказала сделать себе только бульон куриный, из коего мясо подать себе под легким соусом. Все эти мелочи доходили в ней до болезни, до мании какой-то; но, что всего страннее, княгиня очень хорошо сознавала это и потому тщательно старалась скрывать от всех свой недостаток, покоряясь своей другой, равносильной и уже известной читателю мании — *что скажут?*

Была у нее одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости; эта слабость — слепая, безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на десять, не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы и прикидывался пред матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нем не чаяла.

Пообедав очень скромно куриным бульоном, старуха удалилась в свою молельню (она очень была благочестива) и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока ей не объявили о приезде m-me Шипониной с дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, к которой та и отпросилась нынешним утром.

У престарелой m-me Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькие и престарелые дочери — три перезрелые и потому злющие девы, которых за глаза называли тремя грациями. Отличительные черты их были: наивная скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сентиментальная любовь к небесному цвету. Кроме этих трех, без всякого сомнения, прекрасных качеств ходили о них еще слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трех граций. К этому последнему источнику пылали они еще большею любовью, чем к небесному цвету.

Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству и после обычных приветствий, не находя

между ними своей дочери, спросила несколько удивленным тоном:

— А где же моя Анна?.. Или вы, mesdames¹, ее дома бросили?

Те не совсем ясно поняли последнюю шутку старухи.

— Как — дома? — спросила одна из трех граций.

— Ну да, дома, — продолжала любезно-шутливым тоном княгиня. — Я ее что-то не вижу с вами.

— А где она, в самом деле? — спросила хорошенькая Зина.

— Вы это должны лучше знать, — отшучивалась княгиня. — Впрочем, неужели это она прямо к себе прошла?.. какая глупая! — нежно-материнским тоном добавила она, хотя внутренне и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость.

— Поди попроси княжну поскорее сюда, к нам, — приказала она вошедшему на ее звонок человеку.

Тот пошел и через минуту воротился, объявив, что княжны нет дома.

Княгиня встревожилась.

— Что же это значит? Где же вы ее оставили, mesdames?.. Что с нею? Уж не больна ли она?.. Скажите мне, бога ради!

— Извините, княгиня, я не совсем понимаю вас, — возразила удивленная Шипонина.

— Как не понимаете! Да ведь она у вас же была?

— Когда?

— Сегодня! С двенадцати часов утра отправилась! — с возрастающим беспокойством доказывала княгиня.

Три грации вытянули шеи и ядовито навестили уши.

— Нет! она не была у нас сегодня, — ответила Шипонина.

— Но ведь вы ей писали? — продолжала старуха, обращаясь к Зине.

— Я?.. нет... да, я ей писала, — в замешательстве ответила Зина, понявшая, что тут, должно быть, нечто не совсем то ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чем дело.

Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души.

¹ Сударыни (фр.). — Ред.